

# СОЗДАНИЕ СПЕКТАКЛЯ

РАССКАЗ



**НОНСТАНТИН КУПРИЯНОВ**  
Родился в 1988 году в Москве. Окончил Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «международное право» и Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького. Живет

и работает в Сан-Диего (Калифорния). Проза опубликована в журналах «Знамя», «Волга», «Октябрь», «Нева», «Москва», «День и ночь» и др. Лауреат журнала «Знамя» (2017), премии имени Марна Алданова (нонкурс на лучшую повесть на русском языке,

написанную автором, проживающим за границей России, 2017), премии «Лицей» имени А.С. Пушкина (2018, проза, 1-е место). В 2019 году отдельной книгой изданы роман «Желание исчезнуть» и повесть «Новая реальность».

Изумленными глазами смотрят рамы оставленных домиков на идиллический средиземноморский пейзаж, оранжевые черепицы потемнели от времени и вбирают жар, зеленью пузыряются пологие склоны, превращаются к подножиям дальним в синеву, подернутую дымкой и туманом, еще не исчезнувшим после ледяного утра. Невнятно, но прекрасно: действительно ли это желанный Тихий друг или еще один спадающий в земную пропасть склон, еще одна долина, подобная той, где я сейчас, и откуда виды на прочие долины севера и юга раскрываются, откуда мерещится благодаря силе здорового вдоха, что держишь великие пространства на загорелой ладони, владеешь ими с вершины, приятно овеванной октябрьским ветерком. Впрочем, и они владеют тобой.

Близится пора совершать работу. Я узнаю девушку, которой предписано работать сегодня и следующий сезон. С собой в ладу или в разладе она прожила уже двадцать семь сладких лет, размешанных редкой горестью, о которой однажды расскажет. Следующий год волнителен: настоящая работа, ее очередь. Трудовую квоту она сумела использовать в последний момент. И теперь смотрит в свой две тысячи сто двадцать первый с желанием, сердце замирает, она оборачивается на свой две тысячи сто двадцатый как на вереницу тяжелых превращений, но выходит оттуда счастливой, держит в уме фантазию о сладких следующих семи годах.

Девушка думает: «Я счастлива, мама, пусть еще вчера ты принесла в мой мир боль, сегодня я забираю тебя в свое счастье, давай рядом посидим? Здесь на лужайке, спадающей по юго-восточному склону, среди ноющего зноя найдется чуть тени, я подвинусь, чтоб тебе было место. Жаль, что свела нас смерть, но хотя бы так. На этот разговор не выйти по-другому, а сегодня на то и следующий день – двадцать седьмое октября, – чтобы я не чувствовала никакой сцепки с тем, что ты сказала. В туман превращается кровь из раны, я не присваиваю ее и не принадлежу вчерашнему, я знаю, что есть общая боль, не выпить мне из нее больше предопределенного.

Мама, я утром поспешно ушла, не рассказала тебе главного: работой девушки будет в следующем году создавать спектакли для театра Санта-Барбары. Захолустный городок на побережье Тихого океана, его исторический центр – древняя миссия, фундамент которой пережил двадцать семь крупных землетрясений, но местами сохранился в целости, и у порога того, что когда-то украшало открыточные виды, я разбила свой скоротечный лагерь, в полдень двадцать седьмого числа, за день до того, как рана моя затянется полностью. А полвека назад, когда ты была молодая и не помышляла, что выйдут в огромный мир из тебя трое, отсюда отхлынула жизнь, домики, прежде спускавшиеся ули-

цами-террасами до парков вдоль побережья, заброшены, проданы сталкерам за бесценок, превращены пилигримами во временные храмы; в некоторых зажигают ночью свечи, воскуривают благовония, поют затемненные молитвы, призывая богов, которым лучше бы не приходиться в невинное место, совсем слабенко мерцает некогда славный городок белой привилегированной касты. Сейчас тут все подвергнуто регарденизации: дорога, которой могли бы мы приехать сюда, превращена в розовую аллею, подписаны кусты в этой глуши заботливой садовницей-машиной: “Слава” – двадцатый, “Китайский поцелуй” – тринадцатый, “Омега” – минус пятый. Я шла розовой аллеей, бывшей междугородной трассой, жарким и алым выпал предшествующий привалу час; опускала нос в тепло бутонов, пока не привел искус благоуханий к руинам древнехристианской миссии, историческому склону, с вершины которого завидела впервые мираж большой воды, узнала, что к вечеру, если продолжу идти, неминуемо достигну пристанища. Впрочем, эта “вершина” – не более чем подножие иного, большего холма, с которого я спустилась, и все для того, чтобы двадцать восьмого октября, завтра, канула рана, забылось острие того, что ты сказала, остались нежность, благодарность, радость. Мама, как радостно, что сидишь ты теперь со мной, делишь медитацию привала, наблюдаем обе за трудом девушки-работницы, в которую превращает меня спуск.

Дерево, дающее нам тень, подписано: “Оливка” – минус седьмой. Санта-Барбара – похоже, ультрамодное захолустье теперь, изменилось изрядно с моего последнего сюда спуска. Говорят, три тысячи горожан пытаются заново вдохнуть жизнь и ставку делают на молодежь. Им не нравится, что бывшие дворцы бывшей знати без спросу занимают пилигримы, беженцы-игуаны, трупоеды и прочий “сброд”, как именуют они его, – серый люд без касты и расы, движущийся медленной цепью караванов на юг, в вольные пустыни, превращающиеся силой перемен в леса и сады. Чтобы получить тут место работницы театра, я отправила заявку и оказалась одной из первых кандидаток. Местные создали вакансию для работников-людей в начале октября: было нас четыреста претенденток на место, и вот октябрь гаснет безвозвратно, место превратилось в мое место, я превращаюсь в девушку-работницу, в двадцать первом выпало мне работать, создавать спектакли, и все волнения рассеяны, торжествует солнце радости. Не чудо ли?..

Как всегда, девушка моя заскочила в последний вагон. Ведь в ноябре уже надо сообщить, куда

устроился, либо ждать следующей квоты. Следующая бы случилась не раньше две тысячи сто двадцать седьмого, мне бы тогда было уже тридцать три. Пока я спускалась, это казалось так неблизко, но на целую половину дня стало меньше времени до этого года. А я ведь кое-что знаю о нем, своем предпоследнем годе, мы с мамой давно перестали обсуждать: ее взгляд меркнет, когда она вспоминает, но это решенный и пройденный вопрос, и мы идем дальше, две молодые подружки; мама моя очень молода, только вторая молодость ее зацветает, ей жить еще и жить, нашей мамочке, я не отниму у нее ни часа на размышления о дурном.

Раньше, во времени, где жила героиня моего будущего первого спектакля, ученая Полина К., работать не было привилегией. Мне очень жаль, мама, что ты зачерпнула того времени: когда труд не мог быть вопросом выбора или личной заслуги, а был демоном утренним, скручивающим в трубочку желудок. Благодаря ране моей мамы, нанесенной вынужденным трудом в первой ее молодости, я кое-что знаю о своей Полине К., такой вот бóльшой парадокс, я бы лучше разрубила его и все придумала из головы. Но благодаря тебе я расскажу о ней, мама.

Сперва поблагодарить должна: если бы не наш разговор двадцать шестого, я бы не встала сегодня спозаранку, не зашнуровала походные свои сапожки, не отправилась в путь. Не было бы созерцателя у второй, через октябрь протекающей весны, что мне предстала, когда ранним утром первый побег пустило негорячее солнце по склону, приветствуя меня, одинокую пилигримку, сапожки которой позвякивают легкими бубенчиками, купленными на кельнском рынке в зарю первой моей молодости и последней любви. Не будь этой ранки, одной из множества ран, что проложат меня в лучшую женщину уже скоро, так бы и валялась, разваренная негой и безвременьем, и до самой зимы, может, не спустилась бы по склону и не увидела, как тут они на новомодный лад дают растениям индивидуальные имена и маркируют по новому стилю дни их рождения. Да, этот новый стиль – последний писк моды, взятый зеленым правительством, чтобы подчеркнуть, как мы отличаемся от игуан, поедателей собак. По новому стилю я родилась не в две тысячи девяносто третьем, а в минус седьмом, мы одногодки со славной Оливкой, давшей нам сегодняшнее место привала.

Мама, мама... кричит теперь моя девушка, получившая работу, напуганная тем, что мамина тень никак не садится рядом... Не капризничай, малышка, ты уже совсем взрослая, уж по маминим-то меркам

точно. Тебе просто надо еще немножко продышаться, дать вдоху-выдоху войти в зенит. Конечно, мама вчера нанесла тебе рану. И нужно время. Очень больно. Очень, надо потерпеть: эта кровь стечет, туманом нестрашным розовым сделается, а потом выйдет в небо и прольется бесцветным дождиком в дали, где не узнают ничего о ней, на том боль и превратится. Гурума учит: “Всему свое время, все разворачивается во времени, ничего не происходит сразу, кроме рефлекса. Первый рефлекс – это боль, поэтому второй рефлекс – бежать от боли. Но на то мы не животные и не поедатели животных, чтоб не идти за первым рефлексом, а стойко провожать его”.

Нежась в счастье, голову утопив в платье на коленях матери, отдаю воспоминание о ране наивной своей девушке, что пишет теперь о ней спектакль – о чем-то, чего никогда она не переживала и что в ней никогда не болело и не превращалось, с чем связь имеет она божественную, творческую. Двадцать шестого числа явилась мама сказать двадцатисемилетней дочке, что давеча умер младший брат ее папы Алекса, то есть девушкин двоюродный дедушка. Мама сказала об этом спокойно, практически без эмоций, но за ее тихим голосом стояло столько скорби, что девушка заплакала – никто не должен сносить весть о смерти в семье так, словно это прогноз погоды. Да, каждый день в Калифорнии солнечно. Было так и сто лет тому назад, где жила героиня спектакля, Полиночка К., но что с того? Имею ли я право не плакать из-за смерти, если смерть и сегодня случается каждые четырнадцать секунд, хотя число наше продолжает таять, и регенерация ускоряется, и каждое новорожденное дерево получает имя умершего четырнадцать секунд назад?..

Мама сказала без чувства, и тем рана наша глубже: “Не стало дедушки Влада”. Раненная этим наивная девушка вспомнила, как мало и давно горевала о дедушке Алексе и бабушке Елене. Теперь же всех троих нет, вырезана из бытия целая строчка, поколение-фрактал. Никогда они не посадят свои деревья, не дадут им имена, не проживут какие-нибудь значимые или малозначительные превращения. Девушка вспархивает с верхней ветви Оливки, исчезает в синей ране огромного облака, пронзенного солнцем, привал наш затягивается, боль птичка уносит в клюве; Гурума бормочет в подкасте мантиру, мои губы повторяют за ней.

Героиня спектакля, что созревает во мне, пишет статью, вот уже три года пишет она статью, хотя задумывала изначально пьесу, но пьеса оказалась слишком тяжеловесна, слишком обвешана конструк-

тивными требованиями, и тогда, на полпути, она задумала огромный роман, в тридцать три авторских листа, – в двадцатые годы двадцать первого века, такие снова, в последний раз, вошли в моду, – а моя героиня – утонченная модница, арийка, белоснежная девушка, сократила замысел до статьи. Как я мечтаю о том, чтобы, сняв все фильтры, быть однажды хоть в половину чистой, как она, – Полина из поколения, где была еще белизна; это чуть ли не первое, почему я захотела ставить именно о ней спектакли, я так залюбовалась ею на видеointервью, которое крутили ночью по бесплатному каналу “Ностальжи”, было мне пять; и вот она уже годы в моем сердце, я давно понимаю, что люблю ее куда шире, чем за одну лишь идеальную белизну, отточенность тела, и хорошо бы она третьей примостилась со мной и мамой в тени доброй Оливки; но я не стану утруждать ее, в конце концов, много работы грядет в следующем году, весь мой следующий год будет отдан работе над Полиной, я говорила?.. – конечно, говорила, весь привал этот в прохладе Оливки будет про предвкушение работы, написанные спектаклей, только это и крутится в моем сознании двадцать седьмого числа, рана вчерашняя промыта, а завтра затянется и превратится, лишь сладкая радость близящейся работы циркулирует теперь. Ведь я с детства мечтала писать спектакли, мне не приходилось этого скрывать или маскировать за дурацкими названиями карьер, которые таким, как моя Полиночка К., волочить доводилось на себе, чтоб прокормиться и не спать под мостами, в заплеванных, заблеваных подворотнях, боясь умереть (люди тогда умирали каждые ноль целых восемь десятых секунды, притом они были такие свободные: могли рожать хоть по двенадцать раз, хоть по двадцать, а могли единственный раз, и с возлюбленными могли встречаться, ведь море людей существовало, а могли, – сердце замирает от радости за них – вовсе не рожать!), и в промежутках между изнуряющей работой она писала свою статью, о боже, я совсем забыла, с чего начала... Да, три года заняла у нее работа над статьей о фрактальном разделении на “наивных авторов и авторок” (в финальной версии – “теория наивных авторок”, статья защищена перед комиссией университета Сан-Франциско в две тысячи двадцать четвертом году): о тех сущностях, кто внутри авторов подлинно создает спектакли, книги, кинематограф. Знакомы с ними мы, “авторы”, обычно слабо и скоротечно, подразумеваем за ними двойничество, хотя вернее смотреть на это теперь так, что это мы – их цветные двойники в трехмерном пространстве, им же

никогда не выбраться из двухмерности текстов, из участи протекать прямыми ясными смыслами.

Занятно, что чем больше углубляюсь в образы своей любимой эпохи – двадцатые годы прошлого века, – тем больше понимаю про себя, но, кажется, перестаю понимать их. Дедушка Алекс, например: сто лет назад, в такой же солнечный октябрь, построил наш семейный дом в Калифорнии. Вскоре там поселятся его брат с сестрой: дедушка Влад и бабушка Елена, были они из Европы. Лет пять назад мне казалось, будто я так хорошо понимаю дедушку Алекса!.. Будто сопереживаю его ранам, знаю их как свои линии на руке: эмиграция, оторванность от семьи, мамы с папой, брата с сестрой, отсутствие надежды встретить любимую, языковой барьер, не позволявший ему реализоваться, отсутствие профессиональной перспективы, – не хватало языка, да и Машина уже тогда стала занимать соответствующие позиции. Но чужая рана, хоть истекла из океана общей боли, что держим на своих плечах, всегда заперта особой личной печатью, преступать которую не под силу людям (так говорит Гурума). Это детская моя наивность играла, когда казалось, что я понимаю его. А потом он умер, и все во мне сжалось от смерти, наконец-то кровь из личной раны отрезвила меня. Я горевала целый год, уехала... куда сперва?.. Помню, надолго застряла в Кельне, я влюбилась, но даже это как в тумане, все как в тумане, девочка не ставила сроков, ждала бестрепетно, пока рассеется. Все однажды превращается в иное, так и тут – ровно, как учила Гурума, – меня разбудило осознание-превращение горя: я не понимаю его. Нас с дедушкой вяжет в один род кровь, но не эмоция – она исключительно моя, мертвые сняли бремя, принадлежит оно области времени и личности; мы же избрали безнадежно разойтись на тропях истории, оставив друг другу лишь туманные маяки, систему обозначений, по которой при тонком слухе, при остром зрении узнаем нечто непроизнесенное, когда песня, книга, стих посмертный – достаточно глубоко вонзятся в нас, – но все же не более того.

Я не знаю деда Алекса и почему ему могло быть больно. И вкус раны его другой, чем у меня. Это умерший год назад старик, я сижу на кровати, душ принимает мой любовник Алекс, он настолько близко, что я буквально ощущаю, как за стеной движутся его руки, за струями воды, которой скоро умыться и мне, если только не уйду навек; и хотя мне в сто раз родней по крови старик Алекс, эмигрант из России, основавший ветку нашей семьи, на которой сижу, свесив босые ноги посреди кельнского дождливого октября, мне в тысячу раз понятнее

лохматый проходимец Алекс двадцати семи лет, с которым завтра мы условились выбрать наше первое дерево и посадить его ближайшей весной, солнечным днем – такая легковесная помолвка наших дней – не то что настоящие помолвки моих любимых жителей прошлого века: с кольцом с огромным бессмысленным камнем, с бурей эмоций, ночью страсти. Короче, ничегошеньки я не могу знать о столетней давности, если людей этих больше нет. Время умерло в них, точка жирная поставлена в череде их превращений, дальше мне превращать эмоции о них; и доведется сидеть под деревом, позабывшую горе девочку видеть, сочиняющую, тщеславную, занятую “работой”, занятую тем, чтоб вспоминать. А из кельнского октября я встала и, не собрав вещи, ушла дальше, повзрослела, узнала, что такое туман памяти; Гурума кивнула мне, не спрашивая, – она совершенно ясновидящая, я вижу это ясно, – почувствовала без гордости, как одна из девочек, ею инициированных, переходит в девушку, слезами превращенную, а девушка проснется женщиной, кровью превращенной, а девушка-авторка меж ними записывает в бессловесный спектакль, танцем рассказывающий: *“Нет сил вынести чью-либо смерть, никакой жертвы не будет достаточно, все исчезает, превращается, это общая наша с деревьями участь... Я могу лишь не нести смерть дальше, могу выплакать ее до последней капли, – таких привилегий (плакать-плакать, сколько нужно, и вдруг узнать, что прошлое прошло навсегда) не было у моих бедненьких дедушек с бабушкой, у моей мамы и братьев ее, – а у меня есть, я могу узнать птичий восторг от зрящего в горе меновеня: дождь льет – восторг!.. зной испепеляет крылья мои – восторг!.. туман ляжет вот-вот на долгую ночь с долгой утренней прохладой – восторг!.. но когда я выплачу по-птичьи все, то солнце взойдет, ослепительное в своей юности, умоюсь я солнцем, став обратно человеком без груза, от соленой влаги очищу щеки; и та же самая меланхолическая музыка механического пианино (играет машина, ведь людей-музыкантов в Кельне теперь дефицит – слишком близко проходит фронт с игуанами, и самых чувственных давно собрала в горсть кладбищ горесть войны), что вязала мою первую любовь с первым Алексом, преобразуется вдруг, и из бесконечной тоски льется начинается поток бесконечного счастья”*. Привал накануне работы длится, не уловить каждого движения не бывающего неподвижным мира. Оливка поддерживает спину теплым прежним стволом, и прохладна ее молодая тень; не посаженное нами с юным Алексом дерево звали бы Оливкой – так мы, не заговаривая,

почувствовали контур будущего, но не создали его, уберегли от участи превратиться в память, – тоже по-своему прогрессивно. Алекс так и остался тем утром мальчиком в душе, а я вышла девушкой, почтой переслал мне вещи с воздушным поцелуем, пустой открыткой без рисунка, по тогдашней моде, простился нежно со мной, ушел на фронт биться против поедателей собак, в безнадежной схватке превратился в кого-то, кого я не знаю, а я поняла, что созрел путь мой бездетный, путь раннего птичьего отлета, забрала в Калифорнию треть возвращенного приданого, треть пожертвовала храму Гурумы, треть отправила в детские дома.

Надолго застряла по возвращении, и только смерть деда Влада, последнего деда, подтолкнула меня спуститься наконец с холмов. Мама разбудила меня новостью о смерти: двадцать шестое было число, на третий день хоронят своих мертвецов поедатели мяса, и вот я несу свежую рану и новость на крыльях своих через склоны, где невинны дикие розы, не знакомы с человеческой смертью. Сегодня в походе кажется мне, будто шла целую жизнь, а не каких-то полдюжины утренних часов от предвестия восхода до раскаленного полудня. Этот угасающий город был всегда ближайшим к нашему дому, но я избегала его с тех пор, как узнала о Полинке-кумирке, с той ночи, как узнала, что это был ее город страсти, падения и превращения, и также узнала, что непременно создам ее, вложу себя в нее, сделаю ее своей девушкой, как она – визионерка, писавшая о двадцать втором веке, о моем времени – Эпохе Предчувствия, – часе исполнения заветной мечты о единстве людском посредством океана боли; писавшая чудесные, переносимые на мой нынешний язык стихи о веренице призм и пропорциях всех чувств, через множество созданных авторок-прослоек, – превратила в героиню своего спектакля меня.

И лишь из-за строгости законов-печатей не суждено никогда прикоснуться друг ко другу, пока теперешний склон, упоенный негой, не сведет нас в интимной тени на час, где задумала девушка спектакль. Полина, белоснежная арийка, как хорошо, что ты ушла на пике силы и не снишься мне дряхлой, усомнившейся в сделанном, испачканной рабочим загаром. В четвертом акте спектакля – без слов, танцем одним скроенным, без склеек монтажа, музыки, – очнешься старенькой, прости, но обе мы знаем: это еще одна отслоившаяся личность “наивной авторки”, пробующая на вкус колебание перед запоздалым самоубийством. Убедишься, что нельзя избежать, нельзя не превратиться, нельзя не произнести, чтобы вырваться на свободу:

*“Девочка, закрой глаза, когда я закончу говорить, и не рассказывай дальше, я стою тут, потому что Алекс, любовь моей жизни, сманивший меня из Европы сюда, в мерзкую Санта-Барбару, где не кончается ослепительное лето и где я вечно живу под зонтами, иначе сгорю, прозрачной стану, как вымытая до смерти стрекоза, – Алекс оказался предателем и лжецом. И ложь его всюду на мне, не отмывься... о, мерзость! Я знаю, что сегодня умру, утром это осветилось ясно, и это чистое признание тем, кто будет исследовать, препарировать меня после смерти, кто уже не видит меня ничем иным, как историей, кто не понимает, что я человек с сердцем, мне незачем рассказывать, если не для того, чтобы быть услышанной. Но услышанной быть невозможно, ведь, в первую очередь, нет смысла говорить. Все сказано. И если б были слова, размыкающие проход в свободу от тяжести этой и мерзости, и сладости нектара, сковавшего мои крылья; в свободу из этой повсеместной боли, то они бы давно были подобраны, и не искали бы люди никаких других слов, кроме точно сложенных в песнопение слов освобождающих, а все прочие слова – преданы бы стали презрению. Но нет песни песней, и нет выхода из двухмерной истории о девочке, создающей историю о девушке, создающей историю о женщине. Разной степени очистки можно добиться, работая с шелухой слов, и разной степени глубины бывает ложь, и потому лучшая любовь – это ни разу не сказавшая ничего, только смотревшая на тебя, глаза в глаза. Я думала, вижу такую, я думала: жертвую честью, и репутацией, и карьерой ради такой, все слова вдруг стихли, девочка моя, и хотя я что-то там говорила, лепетала, отраженная в его зрачках, поработанная его объятием одноруким, меня уже не стало, и, чтобы еще иметь силу создавать, я создала массу девочек своих: работающих за троих, борющихся за всех нас, – я понимала, что себя надо освободить от бремени тащить все эти чувства, от бремени структур: абзацев, предложений, глав, сносок, знаков препинания – чистый текст настолько похож на тишину, что не требует обрамления (обременения). Джойс понимал меня, он не писал для меня, ничего не писалось для меня, но он ждал меня; они все ждут, мои учителя, так больно... но наконец-то я принесу им что-то совершенно настоящее – что-то, чего я не сумела вынести, разве это тогда не настоящее? Боль – единственное, в подлинности чего не сомневаюсь, это первое и последнее, за чем посылают нас учителя, а учитель не является раньше, чем готов ученик. Перформанс чертов кончается, и я могу честно сказать: я была стервой, я была гнидой, гадиной, я все украла, даже*

Алекса – теперь возмездие наконец-то уравновешивает меня – и даже свое имя, зовут меня не Полина и не я – авторка статей о “наивных авторках”, – ее автором был молодой, многообещающий поэт И. (думала, я и вправду в последних схватках разожму его имя для тебя? Ха-ха-ха!), которого я задушила, как заправская самка богомола, пока он мылся в ванной после секса, которым я довела его до слез: я не желала даться ему, я таила, для чего пришла в его узкую кельнскую келью, хотя знала с первого абзаца, что убью его и заберу его мысли, его славу, что задушу его, умою любовью и водой прозрачной осени; а все смиренно примут его Смерть, ведь умирают сейчас все подряд в ранних двадцатых двадцать первого, за сотню лет до единства священного: не выдерживают, выходят из тел, душатся, стреляются, исчезают на войне, которой не могло быть, но которая совершилась. Не вызвала его смерть вопросов, я так и знала, и мне не выпить воздаяния за нее, я воздам ему в следующем возвращении, в следующей девочке, в которой вернусь, ведь он поэт: поэты, как и непоэтки типа меня, кончают то и дело: от несчастной любви или от счастливой, от того, что любви не осталось, и от того, что секс не представляет ни интереса, ни смысла; и наше поколение будет последним, рождавшим не по разнарядке, а по желанию, и следующие уже не рожают добровольно: лишь по алфавиту и лишь те, кого в концентрационные “рожательные” лагеря заманил Машина, те, которым прочистят как следует мозги религиозным опиумом; а это, пожалуй, был бы мой промысел, ведь до знакомства с теорией “наивных авторок”, которую я украли у задушенного в душе поэта И., я всерьез думала, что стану проповедницей, Гурумой: девочкам стану проповедовать правильность – тупым телочкам из дремучих деревень, годным только на то, чтобы доить телочек на бесконечных игуанских фермах (жалкие красные трупоеды, как же я ненавижу вас напоследок, как умоюсь ненавистью к вам, сжегшим мой Кельн!)... Но случилось иначе, бог насмеялся над планами моими: я забрала теорию из рук мертвого поэта, довела до совершенства (до абсурда); но явится девочка, которая узнает в “наивной авторке” себя, посвятит моей работе девочку свою, пройдет мой путь, из девочки в женщину, из женщины, минуя старушечью гнилую долю, в пламя смерти, финального превращения, и проклянет со мною вместе Алекса: он лгал мне, родная, лгал! Прокляни его, пусть самосожжением кончит. Он не был сиротой, военным, секретным героем войны, грозой игуан, выжившим при смертельной схватке... Не был ничем – лишь похотливым мужчиной, заставившим

меня лежать и воровать, достоинство утратить от спазма страсти. Как же я ненавижу тебя, лживый!.. Теперь сдохни, сдохни, сука тупая, предавшая всех, чтоб быть с этой мразью, нет сил продолжать забирать чужие жизни. Но нет, постойте, пощады!.. Это я, Я! Полина! Останови это, прошу!.. Это не выдуманная наивная авторка, это я воплю здесь, в последнем перформансе, услышите же меня ради бога, услышите, вытащите меня наружу из двухмерной этой ужасающей вязи буквеной, черт вас подери!!!”

Гурума посоветовала не приглашать маму на спектакль, где будут такие ужасные слова, пусть лишь танцем выраженные перед занавесом. Мол, вдруг это напомнит ей отца или еще какую-то рану, о которой я не подозреваю? Мама же совсем другая. С раной работает по-старому и в старых ритмах: все чувствует и проживает, сцепляется с виной и жертвой, висит подолгу, десятками лет, пока крюки вины не истлевают, но она не плачет, моя мамочка нежная, не отпускает это в небытие, и все эти терновые иглы внутри нее, вросены в тело любимое, пахнущее моей мамочкой. Бедная, как не позвать ее на первый созданный мной спектакль?..

Ах, как хорошо, что есть еще время помечтать и не решаться. Есть время посидеть в прохладе под Оливкой, пока не создан ни один из них, да и время разбить лагерь на ночь грядущую есть. Нет нужды спускаться обязательно именно сейчас, сегодня, двадцать седьмого октября, к воде, нет причин торопиться в дом, что примет меня без условий и оплаты, – полупустой особняк большой семьи, населенный одинокой старухой. Ровесница моих дедушек – их поколение нас называет бездельниками: меня называл дед Алекс старшей бездельницей, а также моих братьев, Алекса-младшего и Влада, пока мать не прошипела, что это раны наносит детям – да, нас в роду по трое рождается, и уходим израненные мы по порядку, за старшей следуют младшие; похоже, так родом заведено, но на мне сломается: ведь я не собираюсь никого вынашивать в теле, и в концентрационный лагерь для рожениц я не отправлюсь, мне по жребию выпало в тридцать четыре туда, но я не собираюсь, давно я избрала путь Полины К., героини-наперсницы, я никогда не отдам Машине свое тело, я не игуана, не трупоедка, не красная мразь!..

Занятно, как бы сложилась жизнь Полины, если бы она знала, что не проживет дольше тридцати трех, и что всего два шанса есть у нее поработать, и что всего два года максимум она сумеет отдать своей подлинной страсти – статье и науке, расслаивающимся авторкам, занятым фантазиями двухмерными,

будто возможно что-либо “придумать”, “написать”, “поставить на сцене”?. Знать такое наперед – было бы не по ней. Она была еще из породы страстных, умевших влюбляться, делать.

Я заночую здесь, тени удлиняются, вот-вот обратят склон в водопад ночи, Оливка не нужна мне больше для прохлады. Но я еще до утра побуду с ней. Довольно моей горечи на нас двоих. Нет, деревце мое, я заночую тут, я не твоя мама, но сегодня побуду ею, спою тебе песенку. Слышишь? Наступает час песен деревьям: редкие загораются огоньки в палатках и домах, тянутся нежные колыбельные над вымирающим городом.

Эта ли тоска по неизбежной тишине в уходящих городах так страшит маму, заставляет ее искать сцепки, инструменты для нанесения ран? Невольно пытается она сцепиться со мной и братьями через рану – видит, совсем мало остается до того, как расцепимся навек. Знает: я превращаюсь в женщину, и это последнее превращение, которое ей застать. Понимает: желание причинить боль, дать болью знание – последний акт любви.

Я смотрю на ее фотографию перед сном, в палатке, поставленной под крылом Оливки, и она, вечно молодая, загадочная, подмигивает, рука ее вросла в руку Алекса-отца. Оплакала бы я их, если б давно не кончился спектакль и давно не растворилась бы мертвая тишина вокруг него – обойден вниманием, найден несущественным, даже локальная газетка для трех тысяч подписчиков не нашла повода для заметки в день премьеры, из зрителей присутствовали одни лишь мама, Гурума (по видеосвязи) да слепая хозяйка съемного бесплатного дома с видом на залив и горы.

Вот так все промелькнуло, вот так стремительно превратилось из сладости двадцати семи в холод тридцати четырех сиротских. Какая же смелая была она. Каждого из нас в пять лет знакомят с прообразом великой личности, имя которой мы получаем в дар, чтобы передарить по зрелости первенцу-деву. В их честь мы вправе однажды сложить свои несмелые стихи, разрезать вены, воспользоваться правом на свободу тела. Сею рану последнюю, собирать кровавый урожай придут уж следующие девочки. Люблю тебя, Полина К., но слишком быстрыми оказались тридцать четыре года. И вот без мамы идти мне дальше, это превращение в то, чем никогда я не была.

Гляди: сколько крови... Сколько крови!.. И все это утром ледяным тоже делается туманом? Розовым и горьким? Как удивительно. Наивная изумленная авторка умирает, чтобы ты наконец сказала одно

свое подлинное слово. Я не встану на пути твоего превращения. Очнусь, чтобы идти после привала, нальется молодой силой шаг по склону изумрудному, затмит рассудок аромат диких роз. Ветер сух, но прохладен, дыхание мое полнится прохладным счастьем, я иду в ожидающий создательницу спектакль».

*P.S.*

*Стихи деда Влада:*

*Мама, как тебе скорбится  
В тесной глиняной могилке?  
Мне, родимая, не спится,  
Дрогнут жилы и поджилки.*

*Снится ли тебе, родная,  
Мой денек земного рая?  
Я страдаю и ропщу.*

*(ноябрь минус двенадцатого года)*

